

СНЕГОПАД

• • • **С**начала был ветер. Он терзал деревца, наметал сугробы, неистово раскачивал гирлянды. Когда ветер утомился, пошел снег. Крупные хлопья сыпались, будто пух из подушки, укрывая все то, что разметала поземка.

Степан Грудов не замечал этих волшебных изменений. Он завершал очередной круг возле своего дома. Дом был длинный, в народе его называли «китайской стеной», и потому Грудов уже замерз. Он тер уши и щеки, шевелил пальцами в ботинках. Но это не помогало; с каждым новым кругом становилось холоднее. Степан решал непростую задачу: возвращаться домой или...

А куда «или»? Восьмой день новогодних праздников. Приходить к кому-то с бутылкой поздногато. Домой?

Он остановился. Напротив — подъезд, седьмой этаж, из лифта налево...

Грудов нашел свои окна. Сквозь хлопья они виделись какими-то особенными, уютными. Кухня с тюлевыми занавесками, за шторами зал...

В зале все и произошло. Случайно? Вряд ли. Дни вынужденно-го безделья только ускорили дело. Хорошо, что завтра на работу!

...Отношения с сыном разладились давно. Лоботряс, бездарь, трепло... «Двадцать лет парню, — заводил Грудов шарманку, — не учится, не работает, шатается невесть где. Балбес!» Как можно было на третьем курсе бросить университет Степан не понимал. «Дай, дай, дай. Ничего другого не знает. И жена туда же. Жалко, мол. Пропадет. Да хрен с ним что случится!» — ворочался по ночам Грудов. Его раздражало в сыне все: начиная от нескладной фигуры, прыщей и длинных волос до голоса, вечно недовольного, скрипучего, как у замученного жизнью старика. Хотя отпрыск редко когда огрызался, нахальный взгляд и ехидная улыбочка приводили в бешенство. «Эх, кабы не «белый билет»! — сокрушался Степан. — Армия пошла бы ему на пользу. Там быстро мозги вправляют». Он любил повторять, что когда дембельнулся, еще с полгода ставил аккуратно тапочки возле кровати. У сына в комнате можно ногу сломать.

Вчера Артем заявился под утро. Это и стало последней каплей. Степан предупреждал: «Придешь позже одиннадцати, ночевать будешь в подъезде. Мы спать рано ложимся, а ты тарелками громыхаешь». Разумеется, Артем опаздывал. Екатерина сдерживала мужа: «он уже подходит», «всего полчаса», «он девушку провожает». Степан скрипел зубами и нервно переключал каналы телевизора. Но в этот раз, когда перевалило за час, Грудов щелкнул задвижкой. Жена пыталась убедить, что на улице минус двадцать пять, что сын легко одет, что...

«Не маленький. Думать надо», — буркнул Степан и выключил свет. Он не думал, что супруга решится открыть задвижку. Но она, видно, открыла. На бессонницу Степан не жаловался, но раза два за ночь поднимался по нужде. В пять утра он обнаружил, что его чадо преспокойно дрыхнет в кровати, источая перегар. Спать Грудов больше не мог.

Когда Екатерина вышла из спальни, Степан пил чай. Она тихонько села рядом. Но Грудов молчал, нарочито медленно отвер-

нулся к окну, не удостоив жену взглядом. Издевки припас на потом.

До обеда супруги не сказали друг другу ни слова. Тяжелые грозные тучи стягивались в жуткое месиво под кухонным потолком. Екатерина ходила по дому крадучись, боязливо посматривала на часы. Но вот скрипнул пол — Грудов-младший выплыл из коридора. Взлохмаченный, в трусах и майке, он щурился спросонья в дверном проеме.

— Ма, че есть? — окликнул сын, открывая холодильник.

— Руки убрал! — Степан отшвырнул газету.

Он увидел, как нервно дернулся кадык. Уголки губ презрительно опустились.

— Че за кипиш?

— Повторяю для дебилов, — чеканил, поднимаясь со стула, Грудов-старший. — Руки убрал и отошел от холодильника.

— С какого перепугу? Я не могу дома похавать?

— Хавать будешь на зоне. А дома будешь есть, когда тебе разрешат. Тунеядец!

— Началось! — Артем закатил глаза.

— Да, началось! Достал уже. Сидит на отцовской шее, ножки свесил. Домой не может вовремя прийти.

— Можно не орать. У меня со слухом все нормально.

— Зато с совестью у тебя все даже очень ненормально. Короче. К холодильнику не подходишь, пока на работу не устроишься. Что ты будешь есть, где ты будешь питаться, меня не интересует.

— Какая, на хрен, работа? Сейчас праздник. Кончится — пойду искать. — Артем скрестил руки на груди.

— Ты уже полгода ищешь. И еще. В этот раз тебе прокатило. Больше номер не пройдет. Ночь спать не буду, но домой не пуцую.

— Дурдом! — сын покрутил головой. — Мама, скажи этому...

Муж оборвал порыв жены резким жестом. Тело его натянлось как струна, в сердце ударила волна гнева, откатилась назад. Он подошел вплотную к сыну.

— В глаза смотри, — процедил Грудов-старший. — Запомни. Я лодырей и неучей кормить не намерен. Все. Свободен. Вали с кухни... щенок.

— Да пожалуйста, — улыбка криво ползла по лицу.

Не опуская рук, Артем медленно повернулся и в развалку пошел в зал. У двери он как бы невзначай бросил:

— Идиот.

Вот тут Грудова и накрыло. В два шага настиг сына, толкнул в спину. Тот влетел в комнату, упал на диван.

— Что ты там вякнул?

Артем вскочил. В глазах мелькнул страх, но их тут же заволокла холодная пелена:

— Че слышал.

Где-то причитала жена, возились соседи, но Степан уже плохо что понимал. Воли не было. Только — ярость. Рука сама отделилась от тела и со всего маху залепила сыну пощечину.

Время застыло, как при фотовспышке. Звон. Тишина. А потом — громыхнуло: сын бросился на отца. Степан видел искаженное злобой лицо, побледневшие губы, черные пятна зрачков; чувствовал пальцы на своем горле. Он опрокинул Артема, навалился всей тяжестью на извивающееся тело и два раза ударил — кулаком. Раненой птицей метался крик жены: «Прекратите! Хватит! Хватит!»

Грудов-старший поднялся. Дышал тяжело, руки дрожали. Сын лежал, скрючившись на полу. По щекам Екатерины катились слезы. Она бросилась к Артему, но он оттолкнул мать. Медленно встал, на скулах нервно ходили желваки. Потрогал щеку, челюсть и куда-то в сторону процедил:

— Ненавижу. Гад.

И потом, глядя в глаза Степану, выкрикнул:

— Ты мне больше не отец! Понял!? Завтра же съезжаю.

Он рванулся из комнаты. Дверь хлопнула так, что звякнула посуда.

— Доволен? Ты этого хотел? Да? Да? — рыдала жена.

— Охренеть, — выдавил Степан и вышел.

...Снежинки таяли на лице. Холод проникал под кожу.

Грудов стяхнул с плеч белые погоны, зашагал мимо подъезда.

Он вошел в первый же автобус.

За стеклом тряслись сумерки. «Напьюсь, — решил Степан. —

В хлам. Идет все лесом». Картинки теснились в голове, и невыносимо сжимало грудь. «Я ему задницу мыл, а он — ненавижу», — Грудов до боли закусил кулак и выскочил в снегопад.

Горячий чай и беляш немного успокоили. Степан прихлебывал из пластикового стакана и соображал, кому позвонить. Соблазнять друзей на пьянку не хотелось, но пить в одного Грудов считал последним делом.

И только в магазине у полок с алкоголем он вспомнил про Бармалея. Бывший слесарь из Степановой конторы Борисыч имел острый, как шило, язык и постоянно цапался с начальством. Его редко видели трезвым, но зато на станке он выделял такое, что самый премированный мастер рядом не стоял. Мужики частенько навещали пенсионера.

Грудов достал телефон, отыскал номер.

— Здорово были.

— Здравей видали. Чего тебе?

Степан понял, что Бармалей в своем «нормальном» состоянии.

— Борисыч, к тебе можно? — начал он без обиняков.

— Проблемы?

— Типа того.

— Ясно. Короче, тут моя старуха марафет наводит. Праздники, едри твою за ногу. Подгребай через пару часов. И курица захвати.

— Понял.

— Ну давай, коли понял.

«Вот старый хрен, — ворчал Грудов. — Болтайся тут до морковкина заговенья». Он взял ноль семь водки, палку колбасы, хлеб. После магазина казалось — малость потеплело. Но скоро опять натянул шапку чуть не до щек. «Так дело не пойдет, — ускорил шаг Степан. — Околою на раз-два. Где бы намахнуть?»

А снег падал и падал. И уже было непонятно: то ли небо валилось на землю, то ли земля врзалась в небеса. Все кругом заполонило белое.

Пакет с бутылкой шаркал о брючину, зазывно напевал: «скорей-скорей, пей-пей, пей-скорей». Грудов ругал домофоны, бди-

тельных жильцов, суетливых прохожих. Он был готов примоститься у забора, под деревом, но хлопья гнали в сумерки.

Собор вырос неожиданно, словно пароход из тумана. Грудов краем глаза выхватывал мерцание свечей в резных окнах. Он уже завернул за ограду, как вдруг открылись ворота, со двора выехал автомобиль. Сквозь решетчатые узоры Степан разглядел ладную беседку. Какой-то человек убирал снег. Старался он на совесть, и Грудов незаметно проскользнул в беседку.

Место превосходное! Справа забор, слева подсобка. Елки укрывают от лишних глаз, позади — стена. Если сторож закроет ворота, перелезть через забор — нечего делать. А главное — крыша! Степан поставил на скамейку пакет, отряхнул снег. Теперь можно и пять капель. Он вынул складник, отрезал ломоть колбасы, отвинтил крышку. Заглянул в горлышко: «Пить из ствола придется. Стремно». Но по-другому не выходило.

Водка была противной, колбаса стылой. Степана передернуло, но в груди потеплело. Он сел. Холодное стекло обжигало ладонь. «Докатился», — почти вслух подумал Степан, снова прикладываясь к бутылке.

Он почти согрелся, мерзли только ноги. Его отпускало. Зато проснулся голод. Степан поглядел на часы — ждать еще прилично.

Кресты собора казались мачтами, только вместо парусов туго натянуто снежное полотно. Белый корабль уверенно рассекал небесные воды. Волны лизали борта: «ширк-ширк».

Это не волны, понял Степан. Это лопата дворника. Да, именно так звучало в детстве, когда они с отцом чистили двор. В деревне наметало почти до крыш, и потому горку можно было заливать до соседского огорода. Степан вспомнил свою детскую лопатку и как громко смеялся отец, когда они влетали на санках в сугроб. Вспомнил, как они с Артемом и дедом лепили снеговика... Грудов помрачнел.

— С праздником, молодежь!

Дворник напоминал Деда Мороза: весь в снегу, окладистая борода, ушанка до бровей, огромные рукавицы. В свете фонаря лица почти не видно.

— И вам не болеть, — поспешил ответить Степан. — Праздники вроде как кончились?

— Тоже скажешь — кончились. Святки на дворе. До сочельника веселимся!

— Кто-то, может, и веселится, — Грудов поднял воротник. — Я тут заглянул на огонек. Не помешаю?

— Мне-то что? Сиди. Только в храме вроде как теплее.

— Нельзя мне в храм, батя. Я уже приобщился, — Степан кивнул на бутылку.

— Ты поаккуратней с такими словами, паря. Приобщаются святых таинств, а технарь — жрут.

Дворник воткнул лопату в сугроб, отряхнул шапку, сел рядом.

— Как зовут?

— Степан с утра был.

— Языкастый ты, однако.

— Что есть, то есть, — Грудов вздохнул. — А больше ничего и нет.

— Так не бывает, — сказал, помолчав, дворник. — Чтоб совсем ничего. Жена, дети?

— Имеются. Толку-то? Сын почти с меня ростом. Жрет да пузо на диване греет. Баба ему сопلي вытирает. Слушай, батя, — оживился вдруг Степан, — не составишь компанию? Только я без стакана.

— Не-е. Я свое уже выпил.

— Да за праздник. Сам Бог велел!

— Ты не путай божий дар с яичницей. Бог велел радоваться. Духовно! Понял?

— Ни хрена я не понял. Я сегодня малому по сопатке заехал. А ты говоришь — духовно.

Грудов запрокинул голову. Водка шумно вкатилась в горло. Закусив горстью снега, повернулся к дворнику:

— Вот такие дела, отец. Точно не будешь? Ну хоть для сугрева.

— На кой мне это баловство?

Степан разглядел глубокие борозды морщин, седые, до плеч, волосы и... глаза; ясные и печальные одновременно. Он отвернулся.

— Угораздило ж тебя, — сказал дворник. — В такой праздник.

— Праздник как праздник.

— Ну не скажи. Ты хоть знаешь, Кто родился?

— Христос.

— Именно. А Кто он?

— Ну, этот. Как там? Добру вроде учил, а Его распяли.

— Да-а. Невелики познания.

— Я в душе верю. Мне хватает.

— Чего тебе хватает? Тоску запивать, колбасой давиться? Ты вдумайся. Родился Сын Божий! И где?

— В Палестине, что ли...

— В хлеву скотском! На соломе. А знаешь зачем?

— Ну?

— Баранки гну. Чтобы тебя, дурня, спасти. И сына твоего — оболтуса — тоже. Это ж какую любовь нужно иметь к людям. К Отцу.

— Отцу?

— Конечно. Отец Его и послал сюда. В холод, голод. Представляешь, каково Ему отдавать Сына на смерть. Вот что значит любовь отцовская!

Степан мотал головой:

— Батя, зачем ты все это рассказываешь? Я верю: там что-то есть. Но там! Не здесь. Здесь — полная задница.

Плюнул зло в снег.

— Эх, паря. Не прав ты. Все — тут, — старик легонько посту- чал по груди Степана.

— Каждому свое.

Помолчали. Дворник поднялся:

— Ладно, у меня дел невпроворот. Если замерзнешь, вон моя сторожка. Только без водки, — снег тонко скрипнул под валенка- ми. — Смотри-ка, валит и валит.

Грудов тоже вышел из беседки. Над ними зияла бездна. Из са- мой черноты, кружась, низвергались мириады белых крыльев. Безмолвно. Мнилось, еще немного — и Степан, и чудной старик, корабль-собор и окрестные дома превратятся в снежных птиц...

— Отец, давай помогу, — сказал Грудов.

— Нет. Мне свое перед Богом отработать надо. Самому, — от- ветил дворник. — Шел бы домой, паря. С Богом!

«Ширк-ширк», — неспешно затянула лопата.

Грудов убрал водку и закуску в пакет. Пить здесь ему не хотелось.

...Он не заметил, как прошел остановку. Другую. И только, когда в кармане заверещал мобильник, вспомнил, куда и зачем ему нужно.

— Ты где...? — ругался в телефоне Бармалей.

— Борисыч, отбой, — слова вылетели сами. Степан не спешил их возвращать. Не спешил и оправдываться. Молчал.

Молчал и Бармалей. Потом выдал:

— Ну ты баламут... Ладно, хрен с тобой. Нет так нет. Пишите письма, адрес прежний.

Алкоголь выветрился, и опять стало холодно. Степан поймал такси.

Свет в окнах не горел. Грудов потоптался на крыльце. Швырнув пакет в мусорный бак, достал ключ.

Жена, по всей видимости, спала. Сын — тоже. Степан быстро разделся, прошел на кухню. Свет включать не стал. Просто сидел у окна, наблюдал, как кружат снежинки. Отсюда их танцы уже не представлялись бессмысленной чехардой. Это было нечто неделимое, цельное полотно: черные зрачки, дрожь в руках, плач жены...и дальше: старик, лопата, собор и снег, снег, снег...а еще...

Степан поднялся. Было тихо, как бывает только в темноте. Только часы с кукушкой — подарок деда — негромко тикали. Степан подошел к двери сына. На столе горел ночник. Артем всегда засыпал со светом; детские страхи не прошли до сих пор.

Отец медленно опустился на край тахты. Сын лежал на боку, заложив ладони под щеку. Одеяло сползло с плеча, дыхание ровное. И все-таки морщинка на лбу да чуть вздернутые брови нарушали покой этой комнаты. «Эх, паря», — вспомнилось Степану. И тут жалость, та самая, которую так старательно прятал даже от домашних, вырвалась из сердца, поглотила без остатка...

В горле шевелился ком. Он закрыл лицо руками, но плечи тряслись и тряслись.

Сын спал. Что ему снилось? Дед, горка в деревне? Или Рождество, где Отец безмерно любит Сына, а Сын Отца?

Степан укрыв своего мальчика и вышел.

Уже в постели, отключая звук на телефоне, увидел сообщение. Оно пришло, когда пил в беседке. «Прости меня, пожалуйста, ПАПА».

За окном было чисто. Снегопад кончился. Фонари заботливо освещали двор. Над фонарями в прозрачных январских небесах ярко горела звезда. Одна-единственная.

ИОРДАНЬ

Истопнина разбудил визг бензопилы — надрывный, выворачивающий наизнанку. Он уже собрался завернуть армейский трехэтажный, но вчерашнее мелькнуло в голове, и Валентин отвернулся к стене. Скрючился, как младенец в утробе. Злоба уступила место страху. «Скорей бы уж», — пробормотал Истопнин, зарываясь в одеяло.

Наверное, он все-таки задремал. Скрипнули половицы. Только сейчас Валентин понял, что кругом тихо. Ходики показывали начало двенадцатого. На половиках колыхались солнечные пятна. Из окна хорошо проглядывался невысокий берег, заросший тальником. Над ним тянулись серые заборы и засыпанные снегом крыши. Кое-где вился дымок. Валентин вспомнил, что с вечера не топил. Потянулся за фуфайкой, но тут снова заверещала пила.

Он подошел к другому окну. Щеку обожгло холодное стекло. Три человека продирались к воде. Валентин узнал — те же, что и в прошлом году. Останавливаются у Михалыча, заваливают едой, ставят магарыч. Тот и доволен. Баньку сварганит, двор для машин почистит. К вечеру народу понаедет — уйма. Крики, смех — веселятся городские. После и местные подтягиваются к проруби. Но те как-то потише. Скинули одежонку, по-быстрому окунулись и бегом до хаты.

Истопнин не понимал этого странного желания лезть в ледяную воду. На крайний случай, зачерпни ведро, облейся в бане и делу конец. Бабки, шамкая беззубыми ртами, переговаривались — народ подался грехи смывать. В это слабо верилось; очередная блажь.

В сенях он помедлил, приоткрыл дверь — никого. Захрустел к поленнице. Снег искрился на солнце. «Снег — это хорошо», —

подумалось ему. Набрал дров, угля и назад — почти бегом. Немного успокоился, когда в печи загудел огонь. И только сейчас почувствовал голод. Зверский!

Холодный суп хлебал стоя, прямо из кастрюли.

За окном теперь стучали. Ломами добивали остатки льда. «Когда же они закончат?» — Валентин закрыл крышку. Снова поплыли вчерашние картинки: черные деревья вдоль обочины, одинокая сутулая фигура...

В шкафу среди альбомов с фотографиями отыскал нужный конверт, бросил на стол. Деньги лучше рассовать по книгам, отвезти брату в коробках с барахлом. От мысли, что за ним скоро придут, мутило. Он завалился на кровать, накрыл голову подушкой.

Когда проснулся, только-только начало смеркаться. Было жарко, и рубашка прилипла к груди. Хотелось пить. Он глянул на часы и замер: а может... обойдется? Тонкой свечкой затеплилась надежда. Залпом осушил кружку воды, шумно умылся. Из квадратного зеркала глядело посвежевшее лицо.

Часы громко отсчитывали ход времени. Он сидел на крохотной табуретке, ворошил угли, глядя на последние отблески огня...

Дверной звонок разорвал тишину. Слова выкатились сами: «Ну вот, Валя, кажись — все». Но у калитки стояла Михайловна — востроносая баба; говорливая, как сорока. Она держала банку молока. Пока рассчитывался, в уши ему трещали:

— Здравствовать тебе, Валек. Погодка ниче сегодня. Слышал новость? Митьку Бурята сбили.

— Да ну! Когда? — Истопник старался изобразить удивление.

— Вчера. Ночью.

— Где?

— После сворота, почти у деревни.

— Кто?

Соседка зыркнула, сунула под мышку пустую банку:

— Поди узнай. Темно было. Да и вьюжило, как на грех. Все следы замело. Пока выползал из канавы, того и след простыл. Если бы, грит, не отскочил — хана.

— Он что, живой? — Валентин плотно сжал зубы, сдерживая вздох облегчения.

— Живехонек! — Михайловна нехорошо улыбнулась. — Чему, охламону, будет? Таких хоть ломом в землю вгони — выполнят; что б им пусто было.

— Тебе-то чем Бурят насолил?

— Морду его хитрую видеть не могу. Денег заняла с полгода назад. Не, че говорю, больше! Почитай, год цельный. В ногах валялся, клянчил. Пожалела, дура, теперь вот локти кусаю. Сам знаешь, скользкий, не удержишь. Она, даже от машины увертывается. Черт рыжий!

— Да ты не распыляйся. В больнице, должно быть, не сахар.

— Кого?! Дома он! На койке брюхо греет. Плечо там у него или рука вывихнута. Ребра вроде целы, сотрясение мозга только. Хотя сотрясать-то нечего. Доктор с района приезжал, все как надо сделал. Сейчас участковый бумагу пишет. Искать будут, — Михайловна вновь стрельнула глазами, — дело ведь нешуточное.

— Искать? — Валентин старался говорить небрежно. — Он же ничего не видел. Дохлый номер.

— Не скажи, Валек. Участковый собирается по дворам пойти, народ поспрашивать.

Истопнин поправил шапку:

— Ладно, че-то я совсем околел. Не май месяц.

— И то верно. Ежели что про Митьку узнаю, сообщить?

— Как хочешь. Мне сугубо фиолетово.

Дома Истопнин сунул конверт в альбом и поспешил под навес, к машине. Оглядел. На правом крыле приличная вмятина. «Ну и что? — успокаивал себя. — Мало ли где мог стукнуться? Никто не видел, когда я приехал. У Перьевых свет не горел, а Васька у своей крали вторую неделю зависает».

Он решил не возиться с крылом, чтобы не привлекать внимания. Только бы не заглянул участковый. Только не сегодня. Валентин повторял эту фразу, словно молитву, ходил по дому и посматривал за окно. Когда окончательно стемнело, выкрутил лампочку под навесом и сразу успокоился: никто уже не придет. А завтра с утра в город — ищи-свищи...

Истопнин не любил пить в одиночку, но сейчас — особый случай. После третьей ушло напряжение, он даже повеселел. Но ког-

да бутылка опустела наполовину, навалилась тоска. Наташа всегда говорила, что больше трех пить не стоит. И, как всегда, была права. После ее ухода ему советовали взять другую. Вон их, одинок, вагон и маленькая тележка — бери не хочу. Он пытался, но как-то вяло. Не срослось, одним словом.

Он все мог понять: разлюбила, устала, надоел... но чтобы, побросав вещи, сбежать к Буряту, это было выше его разума. Деревня гудела несколько месяцев. Сплетни росли одна нелепей другой. Потом вроде как все устаканилось. Митька стал потихоньку выползать из дома, по новой куражиться и петушиться. Особенно когда прослышал, что «никто не собирается палить его вместе с хатой». Поговаривали, что он побивает новую любовницу, гоняет за водкой и в район продавать шмотки. Этого прыща нужно было раздавить сразу.

За окном вовсю веселились. Городские прикрепили к забору фонарь. Было хорошо видно, как люди с полотенцами бегут к проруби, держась за деревянные перила, лезут в воду, быстро окунаются и громко выскакивают под одобрительные возгласы зрителей.

«Когда же они закончат? — злился Валентин. — Пижоны!» Он уже не закусывал, но хмель его не брал. И снова перед глазами маячила ненавистная спина... «Не надо было выворачивать баранку. Пожалел гниду. Второй раз уже! Какой толк от этого кровососа? Беды одни! — Истопник саданул по столу кулаком, смахнул посуду на пол. — Увернулся он. Как же! Гимнаст хренов. Я не я буду, но кончу ублюдка». Но что-то ему подсказывало: никого он не кончит; не того замеса. От этого еще больше выкручивало. Он был пуст, как закатившаяся под шкаф бутылка.

За окном стало тише. В прорубь окунались местные.

Когда Валентин оторвал голову от стола, часы показывали без четверти два. Он достал из шкафа полотенце, быстро оделся и вышел. Месяц, словно детский кораблик, плыл среди редких туч. За ним караваном тянулись бледные звезды. Тишину нарушали собаки, да и те лаяли нехотя, беззлобно. Валентин спустился к реке. Мороза он не чувствовал, даже когда скинул ватник и валенки. «Грехи смывать — дело нехитрое, — он криво улыбнулся. — Что говорить-то надо? Ладно, не важно».

Он стоял перед иорданью. Вода казалась таинственным зверем, копошащимся в своей норе. Ступени были скользкими, перила в белых наростах. Истопник входил в другой, неведомый мир. Вот обожгло ноги, грудь. Валентин ухватился за холодные доски, глубоко вздохнул и погрузился в ледяную темень.

Ночь. Яркий свет фар. Суголая фигура. Деревья. Взрыв гнева: «Дави!» Поворот руля. Удар. Дикий безмолвный крик: «Гони!»

Секунда, минута, час? Сколько это длилось? Дыхания почти не было. Он начал было подниматься, но вспомнил, что в прорубь ныряют трижды. Тьма снова сомкнулась над головой.

Пыльная каморка деревенского клуба. Огромные глаза. В них страх. Ничего кроме страха. Девчоночье еще не тронутое тело. Жесткий пол. Мокрые щеки. Умоляющий шепот: «Не надо». Ослепляющая ярость обладания.

Он увидел лезвие месяца, всажнное в чье-то необъятное брюхо. Тело рвалось из воды. Но он заставил его снова окунуться в бездну.

Робкий скрип двери. Бордовое пальто. Те же огромные глаза, разве что потускневшие за годы. Вспухшая губа. Виноватая улыбка, ползущая куда-то вниз. И голос, как железом по стеклу: «Убирайся к своему хахалю, потаскуха!» Качающийся, будто висельник, дверной крючок.

Истопника трясло. Руки не попадали в рукава, носки липли и не надевались. Собаки злобно переругивались. Звезды ехидно перемигивались. В груди что-то стучало — гулко, словно камень в железной коробке. Валентин бежал. Где-то в шкафу припасена бутылка.

Там, где речка огибает берег, он остановился. Здесь издавна рубили прорубь, чтобы набирать воду. Для ныряния слишком глубоко. Здесь тогда и нашли ее пальто. На льду оно казалось цветком — сломанным, нелепым.

Истопник спешил. Снег предательски скрипел под ногами.

БИБЛИОТЕКАРЬ

Жила-была библиотекарь. Разумеется, много читала. Книги с детства шли с ней по жизни. Вот только спутник жизни ей не встречался. Вначале это сильно печалило библиотекаря, а потом вроде как привыкла.

На работе ее окружали стеллажи. А дома бесшумно слонялось одиночество. И только по вечерам оно пряталось в художественной тени библиотекаря, когда та садилась у окна с бокалом вина и закуривала. Но только стоило лечь, как одиночество мостилось в изголовье и начинало свою заунывную песнь.

Библиотекарь много чего знала — полезного и неполезного. Первое с трудом лезло в голову, второе — весьма проворно. Еще у библиотекаря были привычки и заморочки. Так, например, она гадала в ночь перед Рождеством. Но делала это своеобразно: открывала наугад книгу, тыча пальцем в страницу. Строка, на которую указывал перст, должна была приоткрыть завесу будущего. Сапоги за порогом и зеркала в темноте не прельщали. Но суженый так и оставался за завесой, и последние годы библиотекарь гадала по накатанной — без трепета и ожидания.

В это Рождество она решила довериться *пасичнику*. Может, Рудый Панько что-нибудь да прогоголит? Наскоро поужинав, библиотекарь извлекла из пакета книгу с оттиснутым профилем на обложке. Села за круглый столик, зажгла свечу...

«Нехорошо быть человеку одному», — прочитала она. Что-то здесь не так. Жаль, не заметила страницу. Выдохнула, зажмурилась... «и будут двое одна плоть». На этот раз библиотекарь запомнила место. Стала перечитывать. Никаких двоих, никакой плоти! Но ведь было! И вообще, откуда это? Она потянулась за сигаретой, но в руках снова оказалась книга. Темный профиль озорно улыбался. Очертя голову библиотекарь нырнула в диканьковский хутор. Палец скользил по знакомым строкам: «И мигом очутился Вакула около своей хаты. И в это время пропел петух, ибо крепка, как смерть, любовь». Стоп! Она узнала последние слова. Но как это возможно?

Библиотекарь уже не заглядывала в книгу.

Ее не знобило, не тряслись члены, сердце стучало ровно. Она стояла у окна и слушала, как тикают настенные часы. Одиночество скукожилось и юркнуло в дальний угол. Вдруг библиотекарь прильнула к холодному стеклу. По заснеженному двору, оставляя следы, шел человек: пальто странного покроя, цилиндр, из-под которого вились темные волосы, в руке трость. В свете фонарей отчетливо выделялись усики и прямой нос.

Библиотекарь опустилась в кресло. Она глядела на пламя свечи. И улыбалась.

Человек в цилиндре свернул за угол. Там его ждала небольшая ладная бричка. Чему-то посмеиваясь, сел в коляску. Малороссийским говором крикнул низкорослому кучеру: «Трогай». Малый дюже походил на человеческий нос. Он щелкнул кнутом, и бричка покатила по асфальту. Рядом на козлах сидел господин — не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок. Он улыбался, оглядывая город.

Мелькали светофоры и витрины, версты, колодцы, обозы, серые деревни... Спицы превращались в один гладкий круг. Еще немного, и бричка оторвется от земли и взмоет в звездное небо. Какой же русский не любит быстрой езды?

БАБА ЛИЗА

(Между землей и небом)

Человек ушел, но в памяти остаются его голос, лицо, глаза... Баба Лиза уже — там, а я — здесь. Листаю когда-то записанное наспех.

Сегодня причащал бабу Лизу. В храме она всегда молится на одном и том же месте — у иконы Святой Троицы. Не загоразживает лик, не делает наставлений захожанам, не кидается ревностно вытирать стекло киота. Подходя под благословение — улыбается.

Вот уже несколько лет она не выходит из дома. Живет на десятом этаже в двухкомнатной квартире. Похоронила двух сыновей. Раз в неделю ее навещает племянница — привозит необходимое.

Забегает и девушка нашего прихода — убраться, сходить в магазин. Иногда бываю я — приношу Тело и Кровь Христовы. Так проходят ее дни — между землей и небом, в стороне от бесконечных суеты и хлопот, в стороне от храма. За чужой жизнью она наблюдает из окна. По храму скучает.

Звоню в дверь. Слышу знакомое «иду!» и стук ходунков. Щелкает замок. И сразу — улыбка. И глаза — светлые и печальные одновременно. И заботливо-повелительное «Не разувайся». Почти что ритуал.

Прохожу в комнату. Аккуратный иконостас, лампада, свеча, книжная полка, тумбочка с газетными вырезками — ничего лишнего. Чашечка с кипяченой водой и кусочек просфоры накрыты салфеткой. Жду, когда подойдет хозяйка. Но вот отставлены ходунки, плотное тело опускается на кровать. Начинаю читать молитвы. Оборачиваюсь, чтобы принять исповедь...

Я каждый раз вглядываюсь в это лицо. Стараюсь запомнить, найти то невыразимое, что оставляет жизнь в глазах и морщинах. Ни холст, ни скульптура, ни фотография не в силах это передать. Слова здесь тоже бессильны.

Лица, как реки, изменчивы. Свои водовороты, перекаты. Что таятся на дне? Как невозможно дважды войти в реку, так невозможно дважды (и многожды) войти в лицо взглядом. Морщины, изгибы, впадины. У каждой своя история. И в каждую проникал Бог. Во время причащения Свет Его Славы озаряет непроглядную даль человеческой души, мельчайшую клетку тела. Тогда лица пылают Фаворским Светом, как пылают реки в лучах восходящего солнца. Глаза не в силах вынести этот Свет, потому и сокрыто то сияние до времени. А пока текут лица-реки туда, где когда-то они сойдутся. Возвеселятся, получая новое имя... Но это позже. Сейчас я подаю Небесный Свет в частичке запасных Даров той, что когда-то не отходила от Святой Троицы. Ныне же Троица пришла к ней.

Складываю плат, убираю дароносицу, иду в коридор. Сзади медленный стук ходунков. Прощаемся. Русская женщина (хоть сейчас на полотно) в платке осеняет меня крестным знамением, словно внука, закрывает дверь.

Теперь она — там. Река достигла Устья.

ПИСАТЕЛЬ

Жил-был писатель. Днем просиживал над графиками, ночью — творил. В основном рассказы. О романе даже не помышлял. «Не созрел», — отвечал он своим почитателям.

Его знали в городе и не только. Печатали в журналах, газетах. Но, как всякий писатель, он мечтал о книге. С книгой же было трудно. И все же писатель не унывал, бился над каждой строкой, довольствуясь крохами сна; он не мог не писать. А писал он вещи грустные. Печаль так и сочилась из-под его карандаша. Именно это ставили ему на вид. Даже почитатели. «У вас хороший слог, — говорили они, — тонко выписаны персонажи, неожиданные развязки, но совершенно нет позитива». Друзья и те требовали чего-нибудь повеселее: жизнь и так напрягает, а тут еще ты сгущаешь краски. Но он не мог не сгущать. Слово «позитив» вызывало у писателя нервный тик.

И все-таки он пытался. Честно брался за мажорное, но в конце непременно съезжал на минорные тона.

Он умел пошутить, но стоило ему сесть за стол...

Вот и сейчас, пробежав глазами исписанный лист, писатель вздохнул: «Снова будут нос воротить, требовать веселухи. А где я ее возьму? Он глянул в окно. Уже светало. Писатель опустил голову на кипу черновиков и закрыл глаза...

Небо хмурится, по зеленым холмам гуляет ветер, шевелит ковыль и гривы коней. Два всадника всматриваются в даль. Один на огромном черном коне. На руке, сложенной козырьком, висит булава, в другой — копьё наперевес. Второй, безбородый, — на коне белом, готов выхватить меч из ножен. Взгляды богатырей суровы, напряжены.

— Глянь-ка, сколь вражины собралось, — молвит бородастый. — Сдается, Виктор Петрович, вдвоем придется биться.

— Не думаю, Федор Михайлович. Он еще никогда не подвдидил. Обождем малость.

Тут писатель вскакивает, несется во весь писательский дух, кричит:

— Вот я, вот я.

Но безбородый резко его останавливает:

— Ты откуда взялся, голозадый? Марш домой, пока мамка не отшлепала.

— Беги домой, мальчик. Тут сейчас такое начнется, — басит тот, что с булавой и копьём.

— От горшка два вершка, а все туда же. Подрости сперва там поглядим.

Богатырь на белом коне оглядывается, восклицает радостно:

— Что я говорил? Во-на, Исаевич спешит. Ну теперь супостату-позитиву не поздоровится. Ох, раззудись плечо, размахнись рука!

По высокой траве скачет третий богатырь. Конь-огонь, за спиной лук, колчан со стрелами...

Писатель открыл глаза. Тонкий сон развеялся, в комнате виселатишина, ветер слабо играл занавеской. «Сами управятся», — улыбнулся писатель и нырнул под одеяло.

САНТЕХНИК

Жил-был сантехник. Пил, курил и матерился. Но в душе был добрым.

Он вел размеренную жизнь: в будни после работы резался в домино, в выходные — нарезался. Предпочитал «Жигулевское» «Балтике» и болел за «Спартак». Руки откуда надо росли. Жена его терпела. Дни капали, словно вода из крана — потихоньку.

Но вот стали замечать: что-то не то с сантехником. Играет рассеянно, «Рыба!» не кричит и даже выходные игнорирует. Но шила в мешке не утаишь. Заприметили его ночью на балконе с длинной трубой. Поскребли щетинистые подбородки. В субботу усадили на скамейку, налили водки по рубец и давай пытаться — колись, корешок. Сантехник опрокинул стакан, вытер усы рукавом и начал как на духу.

— Да что рассказывать? Отправили по вызову. Как всегда, проволынил. Пришлось по темноте тащиться к черту на кулички. Открывает дед. Борода до пупа. Халат в драконах да в звезд

дах. На голове колпак. Дед хоть и древний, но бодрый. Улыбается. Двигаем на кухню. Мать моя женщина! Кругом свитки, приспособы всякие, книги не наши, кожаные. Ну точно в сказку попал! Товарищ на кран показывает, говорит, в магловских вещах ничего не смыслит. Так и сказал — магловских. Мне-то что за дело, прикалывайся сколько влезет.

— Наверняка крендель из театра, — вставил кто-то из мужиков. — Репетировал поди.

— Этого я не знаю, — ответил сантехник, наливая пиво. — Короче, пока менял прокладку, дедок чаек сварганил, к столу пригласил. Сели. Трешь-мнешь, разговор завели. Спрашиваю, из какого музея посуда и вся эта канитель. Он сначала аж бровями задвигал, а потом как давай ржать. Прямо до слез. Какой, говорит, музей? Из этих чашек еще его прабабка пила. И вообще он не местный. Он, как его там... алхимик. И ну втирать про какой-то камень философский. Про пацана, который выжил. Вроде как не должен был выжить, а вот умудрился-таки. Тут я, честно скажу, не догнал. И да!.. За этим пацаном какой-то хрен гоняется, которого почему-то нельзя называть.

— Педофил, — снова вставил приятель.

— Оборзели... — ругнулся другой.

— Там другая тема, — затыкнулся сигаретой сантехник. — Фламель говорит: «Пойдем».

— Кто?

— Фамилия у этого деда — Фламель. Зовут Николас.

— Еврей, что ли?

— Да разберись тут! Не картавил вроде.

Короче, поднялись на чердак. Прямо из кухни. Он там какой-то палочкой поводит — дверь нарисовалась. На стене. Прикинь! Мы туда. А там — телескоп! Буковки, значки всякие. Я, братцы, как глянул... Ядрен батон! Про все забыл. Напрочь! Созвездия как живые, звезды ниточками соединены. Золотыми! А Фламель наизусть шпарит: Кассиопея, Андромеда, Орион... Ух!

Сантехник отставил стакан. Замолчал. Взгляд его блуждал по небу, по губам ходила улыбка.

Мужики переглянулись, толкнули в бок:

— Дальше-то че?

— А? Ничего. Пришел к Николасу через пару дней, как сказано было. Он мне и подарил.

— Что подарил?

— Телескоп! Размером поменьше, но Млечный Путь — близехонько, хоть ныряй.

И еще долго вещал сантехник о светильниках и галактиках. Все слушали, отложив сигареты и пиво. А где-то неподалеку спасал философский камень мальчик, который выжил.

УБИЙЦА

Я быстро забываю имена, зато хорошо помню лица.

Передо мной убийца. Крепко сложен, кулаки, словно гири, короткая стрижка, голос с хрипотцой. Как только я вошел в храм, он рванулся со скамейки: «Батюшка, мне нужно покаяться...» Сломанное ухо, искривленный нос. Жизнь прошла по этому лицу. Оно напоминает расколовшийся валун. Сейчас по нему текут слезы. Капля застывает на кончике носа. Но парень этого не замечает. Он стоит перед аналоем. Слова выкатываются медленно, тяжело.

Он убил наркомана. Не хотел, так получилось. Он не оправдывается, ждет суда. Знает, что должен понести наказание и что уже ничего не исправишь.

Слезы на скуластом лице выглядят нелепо. Такое даже трудно представить. Но вот они! Катятся по щекам, оставляя мокрые полосы — влага на гранитном срезе. «Я отнял жизнь. Отнял жизнь...» — повторяет убийца. Нужны ли тут еще слова? Мои? Его?

Он стоит перед крестом и евангелием. Стоит перед своей совестью. Перед Судьей всей вселенной и Царем царей. А капля вот-вот оборвется, упадет на крест. В ладонь распятого Бога, Чье Имя — Любовь...

Епитрахиль ложится на стриженую голову.

Вечером я служил всенощную, и все никак не выходило из головы лицо этого человека.

ЧИНОВНИК

Жил-был чиновник. Как у многих чиновников, у него имелось значительное лицо. Не старое, не молодое, не худое, не крупное, а самое обыкновенное — необходимое для работы. Дома и в отпуске он его не носил.

Чиновник надевал лицо в прихожей, почти на ходу, одним безошибочным движением, даже не глядя в зеркало. Портфель, строгий костюм, галстук, лакированные туфли — вся атрибутика значительного лица сияла, как золотая печатка.

Он был чиновником средней руки. Над ним возвышались более значительные лица, даже сверхзначительные или высшей степени значимости, но чиновника устраивало положение вещей. Та ниша вертикали власти, в которой он обитал, была ему отрадой и утешением. На хлеб с маслом, икрой и остальными прелестями хватало.

На службу он приезжал без опозданий. Когда входил в кабинет, лицо приобретало серьезное выражение, а когда в кабинет входил проситель — очень серьезное. Лицо все делало само. Никаких усилий! Даже когда за очередной согбенной спиной закрывалась дверь, лицо не позволяло себе улыбнуться, хотя чиновник ликовал. На тот случай, если вдруг зашевелится совесть, у него имелись трафареты: «Бизнес, ничего личного», «Каждый выживает, как может», «Я в команде» и т. п.

Бывало, он собирался с товарищами после работы. Лица оставались в кабинетах, а люди веселились. Но, когда приходилось веселиться с персонами из высших эшелонов, лица брали с собой — для официальной части. Затем щелкали застёжки портфелей, и люди в пиджаках или без них садились за столы.

Случилось так, что на одном из таких собраний чиновник оказался без портфеля. Заработался, оставил в кабинете. С кем не бывает? После торжественных речей он сунул лицо в карман пиджака. Но то ли был он с устатку, то ли слишком часто поднимались тосты — одним словом, чиновник перебрал.

На следующий день он проснулся в собственной постели, но, как в нее попал, совершенно не помнил. Мятый пиджак ва-

лялся на полу. Что-то нехорошее шевельнулось в груди. Он поднял пиджак, сунул руку в карман. Лица не было! Чиновник бросился на поиски. Одежда, квартира, подъезд. Ничего! Похмелье испарилось в одну секунду. Он обзвонил товарищей, но те только мычали в телефон. «Крах!» — вопил чиновник. «Катастрофа!» — вторила жена. Оба рыдали.

Он открыл бар.

Выходные ползли тяжелой мрачной тучей, как мысли чиновника. Без лица он — никто, ничто, ноль без палочки. Он даже поглядывал на пояс халата...

Настал понедельник. На ватных ногах чиновник шел к входной двери. В прихожей висело зеркало. Чиновник глянул и... обомлел. На него смотрело значительное лицо. Как?! Он принялся его ощупывать. Оно! То же самое! Но он точно помнил, что клал его в карман.

Ах, к чему эти загадки! Не все ли равно, как оно вернулось? А может, и не исчезало вовсе? Невозмутимое, должностное. Сама законность! О, теперь он будет внимательным. Очень внимательным! И будет трудиться результативнее, чем прежде. Ничего личного — просто бизнес.

СТАРЫЙ ФОНАРЬ

Перед тем как мне зайти к больной, родственница вынесла туалетное ведро. «Подождите, я подготовлю бабушку», — виновато улыбнулась, прикрыла дверь. В темном коридоре звучно тикали часы.

Комната напоминает вытянутый шкаф. Стул под грудой тряпья, тумбочка, заставленная склянками, кровать с железными набалдашниками — вот и все. В изголовье окно с двойными рамами. Между стекол сереют лохмотья ваты. За окном мокнет старый фонарь. Он точно заглядывает в комнату, пропитанную запахом чахлой плоти.

Я располагаюсь на подоконнике: икона, дароносица, плат. Прошу кипяченой воды. Открываю трюбник.

За фонарем виднеются гаражи, высокий бетонный забор, железнодорожные пути. Тополя роняют первые листья.

Женщина сидит, низко опустив голову. Морщинистые ладони сложены в замок. Наспех завязанный платок сбился. Покрывало сползло с плеча и обнажило дряблую грудь. Спрашиваю имя, начинаю читать молитвы.

Она медленно качается в такт какого-то своего ритма. Где она сейчас? В нашем мире? В своем?

Осторожно начинаю исповедь. «Каюсь, каюсь», — отвечает больная, согласно кивая... На клеенку медленно падают крупные капли.

— Всех прощаете?

— Прощаю, прощаю, — чуть слышится снизу.

Накрываю ее голову епитрахилью. Потом складываю крестообразно руки для принятия Христовых Таин. Теперь я вижу ее лицо, глаза...

Фонарь, кажется, с интересом наблюдает за происходящим. Похоже, это ее единственный собеседник. Когда закрывается на ночь дверь, он мирно светит в окно. Она же, слушая мерный ход поезда, погружается в прошлое. А эту комнату, старую кровать и даже ведро-стульчак несет на пробитых гвоздями руках Тот, кто только что вошел в эту умирающую плоть, наполнил Светом, навеки приобщив к Себе...

Но знает ли она? Все откроется позже.

Я убираю Святые Дары, зову родственницу. Голое тело снова уложено, укрыто, платок снят. И мне думается, что с последним вздохом этой женщины, погаснет и ржавый фонарь.